

Предисловие автора

В предисловии к первому изданию «Джен Эйр» нужды не было, и мне не пришлось его писать. Но это, второе, издание требует нескольких вступительных слов благодарности и кое-каких пояснений.

Благодарность мне должно принести:

Во-первых, Публике — за снисходительность, с какой она склонила слух к незатейливой повести, ничем особо не блистающей;

Во-вторых, Печати — за благожелательную и беспристрастную поддержку, дарованную безвестному неопиту;

В-третьих, моим Издателям — за помощь, какую их тактичность, их энергия, их практический опыт и доброжелательность оказали неведомому и никем не рекомендованному Автору.

Печать и Публика для меня лишь неопределенные обобщения, и поблагодарить их я могу только в общих словах, однако моих Издателей я знаю и знаю тех благожелательных критиков, которые ободрили меня, как способны благородные и великодушные люди ободрить робкого новичка. И вот им — то есть моим Издателям и этим Критикам — я говорю от всей души: «Господа, сердечно вас благодарю!»

Признав таким образом свой долг тем, кто способствовал выходу моей книги в свет и одобрил ее, я обращусь к другим, чье число, насколько мне известно, невелико, но тем не менее не может быть оставлено без внимания, — к немногим боязливым или сварливо-придирчивым хулителям, кому направление таких книг, как «Джен Эйр», представляется сомнительным, в чьих глазах все необычное уже дурно, чей слух в любом обличении лицемерия — этого отца преступлений — различает оскорбление благочестию, сему наместнику Бога в земной юдоли. Таким недоверчивым судьям я хочу указать на некоторые неопровержимые различия, хочу напомнить им несколько простых истин.

Светские условности еще не нравственность. Ханжество еще не религия. Обличать ханжество еще не значит нападать на религию. Сорвать маску с лица Фарисея еще не значит поднять руку на Терновый Венец.

Все эти вещи и дела диаметрально противоположны, они столь же различны, как порок и добродетель. Люди слишком уж часто путают их, а путать их нельзя. Нельзя принимать внешность за суть. Нельзя допускать, чтобы узкие человеческие доктрины, служащие вознесению и восхвалению немногих, подменяли учение Христа, искупившее весь мир. Между ними, повторяю, есть различие, и четко обозначить широкую границу, их разделяющую, — поступок благой, а не дурной.

Свету может не нравиться разделение этих идей, поскольку он привык сливать их воедино и находит удобным выдавать внешнюю благопристойность за истинную добродетель — принимать побелку стен за чистоту святилища. Он может ненавидеть того, кто дерзает проверять и обличать, соскабливать позолоту и обнажать низкий металл под ней, вскрывать гроб повапленный и обнажать всем взорам прах внутри — но и ненавидя, он в долгу у такого смельчака.

Ахав не любил Михея, ибо тот не пророчествовал о нем доброго, а только худое. Возможно, угодливый сын Хенааны был ему много приятнее, однако Ахав мог бы избежать кровавой гибели, если бы отвратил слух свой от лести и открыл бы его правдивому совету.

Среди нас живет человек, чьи слова не предназначены для того, чтобы приятно щекотать нежные уши. Он, мне кажется, предстает перед великими мира сего, как некогда сын Иемля предстал перед царем Израильским и царем Иудейским, сидевшими каждый на седалище своем, и провозглашает истину, столь же глубокую, с силой столь же пророческой и победной, с тем же бесстрашием и дерзновением. Вызывает ли сатирик «Ярмарки тщеславия» восхищение в высших сферах? Не знаю. Но полагаю, если бы некоторые из тех, на кого он обрушивает греческий огонь своих сарказмов, над чьими головами мечет свои перуны, вняли, пока не поздно, его предостережениям,

то сами они или семя их могли бы еще избежать Рамофа Галадского, этой роковой битвы.

Почему я называю этого человека? Я называю его, ибо вижу, что ум его гораздо более глубок и уникален, чем сознают современники; ибо почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей; ибо считаю, что ни один критик его творений еще не нашел подходящего ему сравнения или слов, верно определяющих его талант. Говорят, что он подобен Филдингу, указывают на его остроумие, юмор, умение рассмешить. На Филдинга он похож, как орел — на стервятника: Филдинг снисходит до падали, но Теккерей — никогда. Остроумие его блистательно, юмор обаятелен, однако к серьезному его гению они имеют то же отношение, что летние зарницы — к смертоносной электрической вспышке, укрытой в глубинах грозовой тучи. И наконец, я называю мастера Теккерейя потому, что ему — если он примет такую дань уважения от неизвестного лица — я посвящаю это второе издание «Джен Эйр».

21 декабря 1847 года.

Каррер Белл

Глава I

Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду (миссис Рид, если не было гостей, обедала рано) ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло.

А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимала тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания,

насколько я физически слабее, чем Элиза, Джон и Джорджиана Риды.

Теперь указанные Элиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке: она полулежала на кушетке у камина и, окруженная своими ангельчиками (в эту минуту они не ссорились и не плакали), выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что жалеет о необходимости держать меня поодаль, но, пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной — ну, словом, более естественной, — она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых.

— А что Бесси наговорила, будто я сделала?

— Джен, я не терплю хныканья и дерзких вопросов, к тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой.

К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги потурецки, почти совсем задернула гардину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.

Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид — вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов.

Я вернулась к моей книге — «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал

мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, «пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам», приюту лишь их одних, — побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере,

Где Северный вскипает Океан
Вокруг нагих унылых островов
Далекой Туле; где на грозные Гебриды
Гнев рушат атлантические волны¹.

Не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии — все эти «необъятные протяжения Арктической зоны, эти неисследованные области, гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой, и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов». У меня сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств: смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодке на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль.

Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющей даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца — указания на наступление ночи.

¹ Здесь и далее перевод стихов И. Гуровой.